

стих 6—7). Если бы с такой чудной правдивостью на сцене был изображен не честный человек, а негодяй, не поручусь за то, что публика сумела бы сохранить хладнокровие и не вытолкать его за двери. За себя во всяком случае не ручаюсь, и Станиславский пусть подумает об этом на будущее время.

...Антракт. Удобный случай оглохнуть. Отдельных звуков не слышно. Все кричат, все рукоплещут, все тянутся к сцене. Красные лица, сверкающие глаза, открытые, но бесгласные в этом гаме рты,— вот картина той толпы, что была в зале. Медлят выходить и с последними остатками голосовых средств провожают венок, который подносится Станиславскому,— и как раз впору, потому что дает хоть некоторое удовлетворение чувству восторга и благодарности за гениальную игру. В первых рядах Ант. П. Чехов. На него смотрят чуть ли не с чувством некоторого превосходства: „смотри-ка, дескать, как у нас-то играют: здорово?“

В четвертом акте сила внушения, волнами идущего со сцены в зрительный зал, достигает высшего напряжения. Драма одного человека превращается в драму всего человечества. На глазах возмущенных зрителей под натиском безумной, эгоистичной, ослепленной толпы гибнет сама честь, сама справедливость и истина. Штокман вырастает. Он уже не главный доктор купален, живущий там-то и на днях купивший скатерть на круглый стол,— он страждущий дух самого человечества, изнывающего в частых сетях пошлости, глупости и грошевой злобы. И злая ненависть поднимается против безумной толпы, со смехом гасящей свои светочи, и зрители перестают быть спокойными зрителями, и в зале рождается новая толпа: толпа героев, толпа защитников права и справедливости, толпа, всей своей сокрушающей силой готовая ринуться на врагов Штокмана и грудь грудью сцепиться с артистами. Свет, как и тьма, имеет своих безумцев и не мало их зародилось в эти трагические минуты, и, к сожалению, только на эти минуты. Но теперь все охвачены одним огнем. Штокман бледнеет, безыскусственно бледнеет—и мало ли людей побледнело в толпе? С какой радостью, злым, удовлетворенным смехом встречаются беспощадные упреки, которые бросает Штокман в самое лицо окружавшим его безумцам:

— Вы звери! говорит Штокман,—и зрительный зал единым своим судорожным вздохом отвечает ему:—да, звери.

— Вы глупцы!—говорит Штокман,—и как эхо отвечает зал:—глупцы.

— Правд только меньшинство, потому что только меньшинство умно и благородно. Вы лжете, что грубая масса, чернь имеет такое же право осуждать и санкционировать, советовать и управлять, как немногие представители интеллигентного меньшинства,—говорит Штокман,—и толпа, та, что в зале, с гордостью вторит ему: да, ты прав, человек среди зверей, свободный и несчастный дух среди рабских и скотских блаженствующих душ.

И говорящие это люди забывают, что сами они — великие грешники перед свободой, правом и справедливостью и что не раз, быть может, каждый из них бросал камнем в такого же д-ра Штокмана и своей глупостью да пошлостью, как пуховой подушкой, душил его. Забывают они об этом — да разве и нужно об этом помнить? Разве не дорого пережить такой момент духовного очищения и потом на всю, быть может, жизнь запомнить, что хоть несколько минут тебе удалось жить, чувствовать и мыслить, как человеку, а не бляеть и не вертеть угодливым хвостом, как одному из великого стада...

... Антракт. Разговоры с характером той же горячности, что ни на минуту не покидает зрительный зал. Часто слышится выражение „гениально“. Один старый театрал и такой же старый журналист на мой вопрос о впечатлении хватается руками за голову, трясет ее с попыткой оторвать и говорит:

— Как они только могут говорить против этого театра!

Другой помоложе, но уже порядочно втянутый в грязь жизни, хлопает себя пальцем по лбу и кричит одно и то же:

— Фильтрует. Голову фильтрует!

Дальше слышится: „Исторический вечер!“ „Это что-то невероятное!“ „Это уже я и не знаю. Ах!“

Эта исключительная сила внушаемости, сценического заражения идет на протяжении почти всего спектакля Художественного театра. Когда теперь читаешь рецензии, где говорится, что сотни тысяч зрителей шли в театр в поисках каких-то созерцательных эмоций, что в настроении этих зрителей было что-то тоскливое, хочется сказать, что ничего подобного не было в переживаниях нового зрителя, выросшего не в 80-х годах.

Вот характерные толки среди публики после спектакля „Три сестры“, но разве элегически настраивала эта Чеховская пьеса с ее знаменитым призывом: „В Москву“?

„То, что почти каждый вечер творится в Художественном театре, в высшей степени любопытно и поучительно... Добрые люди предупреждали меня:

— Не ходите, не портите себе сна, настроения и аппетита. Сходите в другое место. Вот, говорят, на Ваганьковском кладбище новенькие памятники есть, прогуляйтесь, подписи почитайте, все веселей.

— Неужели же так сильно действует?— не доверял я.

— Поверьте, что так. Сам я не был и не пойдю, так как только с той недели начал полнеть и очень этим обстоятельством дорожу. А вот сестра была. Пришла из театра ничего: „ах, Андреева, ах, Книппер!“ а ночью истерика, валерьянка и скрежет зубовой. И у вас в комнате я видел в потолке крюк — так если на „Трех сестер“ пойдете, то крюк этот вынете. На что он вам?